

- [Достоевский Федор Михайлович](#)

-



Достоевский Федор Михайлович

Ползунков

Федор Михайлович Достоевский
Ползунков

Я начал всматриваться в этого человека. Даже в наружности его было что-то такое особенное, что невольно заставляло вдруг, как бы вы рассеяны ни были, пристально приковаться к нему взглядом и тотчас же разразиться самым неумолкаемым смехом. Так и случилось со мною. Нужно заметить, что глазки этого маленького господина были так подвижны - или, наконец, что он сам, весь, до того поддавался магнетизму всякого взгляда, на него устремленного, что почти инстинктом угадывал, что его наблюдают, тотчас же оборачивался к своему наблюдателю и с беспокойством анализировал взгляд его. От вечной подвижности, поворотливости он решительно походил на жируэтку. Странное дело! Он как будто боялся насмешки, тогда как почти добывал тем хлеб, что был всесветным шутом и с покорностью подставлял свою голову под все щелчки, в нравственном смысле и даже в физическом, смотря по тому, в какой находился компании. Добровольные шуты даже не жалки. Но я тотчас заметил, что это странное создание, этот смешной человечек вовсе не был шутом из профессии. В нем оставалось еще кое-что благородного. Его беспокойство, его вечная болезненная боязнь за себя уже свидетельствовали в пользу его. Мне казалось, что все его желание услужить происходило скорее от доброго сердца, чем от материальных выгод. Он с удовольствием позволял засмеяться над собой во все горло и неприличнейшим образом, в глаза, но в то же время - и я даю клятву в том - его сердце ныло и обливалось кровью от мысли, что его слушатели так неблагородно-жестокосерды, что способны смеяться не факту, а над ним, над всем существом его, над сердцем, головой, над наружностью, над всею его плотью и кровью. Я уверен, что он чувствовал в эту минуту всю глупость своего положения; но протест тотчас же умирал в груди его, хотя непременно каждый раз зарождался великодушнейшим образом. Я уверен, что все это происходило не иначе, как от доброго сердца, а вовсе не от материальной невыгоды быть прогнанным в толчки и не занять у кого-нибудь денег: этот господин вечно занимал деньги, то есть просил в этой форме милостыню, когда, погримасничав и достаточно насмешив на свой счет, чувствовал, что имеет некоторым образом право

занять. Но, боже мой! какой это был заем! и с каким видом он делал этот заем! Я предположить не мог, чтоб на таком маленьком пространстве, как сморщенное, угловатое лицо этого человечка, могло поместиться в одно и то же время столько разнородных гримас, столько странных разнохарактерных ощущений, столько самых убийственных впечатлений. Чего-чего тут не было! - и стыд-то, и ложная наглость, и досада с внезапной краской в лице, и гнев, и робость за неудачу, и просьба о прощении, что смел утруждать, и сознание собственного достоинства, и полнейшее сознание собственного ничтожества, - все это, как молнии, проходило по лицу его. Целых шесть лет пробивался он таким образом на божием свете и до сих пор не составил себе фигуры в интересную минуту займа! Само собою разумеется, что очерстветь и заподличаться вконец он не мог никогда. Сердце его было слишком подвижно, горячо! Я даже скажу более: по моему мнению, это был честнейший и благороднейший человек в свете, но с маленькою слабостию: сделать подлость по первому приказанию, добродушно и бескорыстно, лишь бы угодить ближнему. Одним словом, это был, что называется, человек-тряпка вполне. Всего смешнее было то, что он был одет почти так же, как все, не хуже, не лучше, чисто, даже с некоторою изысканностию и с поползновением на солидность и собственное достоинство. Это равенство наружное и неравенство внутреннее, его беспокойство за себя и в то же время непрерывное самоумаление, - все это составляло разительнейший контраст и достойно было смеху и жалости. Если б он был уверен сердцем своим (что, несмотря на опыт, поминутно случалось с ним), что все его слушатели были добрейшие в мире люди, которые смеются только факту смешному, а не над его обреченною личностию, то он с удовольствием снял бы фрак свой, надел его как-нибудь наизнанку и пошел бы в этом наряде, другим в угод, а себе в наслаждение, по улицам, лишь бы рассмешить своих покровителей и доставить им всем удовольствие. Но до равенства он не мог достигнуть никогда и ничем. Еще черта: чудак был самолюбив и порывами, если только не предстояло опасности, даже великодушен. Нужно было видеть и слышать, как он умел отделать, иногда не щадя себя, следовательно с риском, почти с геройством, кого-нибудь из своих покровителей, уже донельзя его разбесившего. Но это было минутами... Одним словом, он был мученик в полном смысле слова, но самый бесполезнейший и, следовательно, самый комический мученик.

Между гостями поднялся общий спор. Вдруг я увидел, что чудак мой вскакивает на стул и кричит что есть мочи, желая, чтоб ему одному дали исключительно слово.

- Слушайте, - шепнул мне хозяин. - Он рассказывает иногда прелюбопытные вещи... Интересует он вас?

Я кивнул головой и втеснился в толпу.

Действительно, вид порядочно одетого господина, вскочившего на стул и кричавшего всем голосом, возбудил общее внимание. Многие, кто не знали чудака, переглядывались с недоумением, другие хохотали во все горло.

- Я знаю Федосея Николаича! Я лучше всех должен знать Федосея Николаича! - кричал чужак с своего возвышения. - Господа, позвольте рассказать. Я хорошо расскажу про Федосея Николаича! Я знаю одну историю чудо!..

- Расскажите, Осип Михайлыч, расскажите.

- Рассказывай!!

- Слушайте же...

- Слушайте, слушайте!!!

- Начинаю; но, господа, это история особенная...

- Хорошо, хорошо!

- Это история комическая.

- Очень хорошо, превосходно, прекрасно, - к делу!

- Это эпизод из собственной жизни вашего нижайшего...

- Ну зачем же вы трудились объявлять, что она комическая !

- И даже немного трагическая!

- А???

- Словом, та история, которая вам всем доставляет счастье слушать меня теперь, господа, - та история, вследствие которой я попал в такую интересную для меня компанию.

- Без каламбуров!

- Та история...

- Словом, та история, - уж доканчивайте поскорее аполог, - та история, которая чего-нибудь стоит, - примолвил сильным голосом один белокурый молодой господин с усами, запустив руку в карман своего сюртука и как будто нечаянно вытащив оттуда кошелек вместо платка.

- Та история, мои сударики, после которой я бы желал видеть многих из вас на моем месте. И наконец, та история, вследствие которой я не женился!

- Женился!.. жена!.. Ползунков хотел жениться!!

- Признаюсь, я бы желал теперь видеть madame Ползункову!

- Позвольте поинтересоваться, как звали прошедшую madame Ползункову, пищал один юноша, пробираясь к рассказчику .

- Итак, первая глава, господа: то было ровно шесть лет тому, весной, тридцать первого марта, - заметьте число, господа, - накануне...

- Первого апреля! - закричал юноша в завитках.

- Вы необыкновенно угадливый-с. Был вечер. Над уездным городом Н. сгустились сумерки, хотела выплыть луна... ну, и все там как следует. Вот-с, в самые поздние сумерки, втихомолочку, и я выплыл из своей квартирнки, простившись с моей замкнутой покойницей бабушкой. Извините, господа, что я употребляю такое модное выражение, слышанное мной в последний раз у Николай Николаича. Но бабушка моя была вполне замкнутая: она была слепа, нема, глуха, глупа, - все что угодно!.. Признаюсь, я был в трепете, я собирался на великое дело; сердчишко во мне билось, как у котенка, когда его хватает чья-нибудь костлявая лапа за шиворот.

- Позвольте, monsieur Ползунков!

- Чего требуете?

- Рассказывайте проще; пожалуйста, не слишком старайтесь!

- Слушаю-с, - проговорил немного смутившийся Осип Михайлыч. - Я вошел в домик Федосея Николаича (благоприобретенный-с). Федосей Николаич, как известно, не то чтобы сослуживец, но целый начальник. Обо мне доложили и тотчас же ввели в кабинет. Как теперь вижу: совсем, совсем почти темная комната, свечей не подают. Смотрю, входит Федосей Николаич. Так мы остаемся с ним в темноте...

- Что ж бы такое произошло между вами? - спросил один офицер.

- А как вы полагаете-с? - спросил Ползунков, немедленно обращаясь, с судорожно шевельнувшимся лицом, к юноше в завитках.

- Итак, господа, тут произошло одно странное обстоятельство. То есть странного тут не было ничего, а было, что называется, дело житейское, - я просто-запросто вынул из кармана сверток бумаг, а он из своего сверток бумажек, только государственными...

- Ассигнациями?

- Ассигнациями-с, и мы поменялись.

- Бьюсь об заклад, что тут пахло взятками, - проговорил один солидно одетый и выстриженный молодой господин.

- Взятками-с! - подхватил Ползунков. - Эх!

Пусть я буду либералом,

Каких много видел я!

если вы тоже, как вам попадется служить в губернии, не погрееете рук... на родном очаге... Зане, сказал один литератор:

И дым отечества нам сладок и приятен¹

Мать, мать, господа, родная, родина-то наша, мы птенцы, так мы ее и

сосем!..

Поднялся общий смех.

- А только, поверите ли, господа, я никогда не брал взятку, - сказал Ползунков, недоверчиво оглядывая все собрание.

Гомерический, неумолкаемый смех всем залпом своим накрыл слова Ползункова.

- Право, так, господа...

Но тут он остановился, продолжая оглядывать всех с каким-то странным выражением лица. Может быть, - кто знает, - может быть, в эту минуту ему вспало на ум, что он почестнее многих из всей этой честной компании... Только серьезное выражение лица его не исчезало до самого окончания всеобщей веселости.

- Итак, - начал Ползунков, когда все поумолкли, - хотя я никогда не брал взятку, но в этот раз грешен: положил в карман взятку... с взяточника... То есть были кое-какие бумажки в руках моих, которые если б я захотел послать кой-кому, так худо бы пришлось Федосею Николаичу.

- Так, стало быть, он их выкупил?

- Выкупил-с.

- Много дал?

- Дал столько, за сколько иной в наше время продал бы совесть свою, всю, со всеми варьяциями-с... если бы только что-нибудь дали-с. Только меня варом обдало, когда я положил в карман денежки. Право, я не знаю, как это со мной всегда делается, господа, - но вот, ни жив ни мертв, губами шевелю, ноги трясутся; ну, виноват, виноват, совсем виноват, в пух засовестился, готов прощенья просить у Федосея Николаича...

- Ну, что ж он, простил?

- Да я не просил-с... я только так говорю, что так оно было тогда; у меня, то есть, сердце горячее. Вижу, смотрит мне прямо в глаза:

- Бога, говорит, вы не боитесь, Осип Михайлыч.

Ну, что делать! Я этак развел из приличия руки, голову на сторону: "Чем же, я говорю, бога не боюсь, Федосей Николаич?.." Только уж так говорю, из приличия... сам сквозь землю провалиться готов.

- Быв так долго другом семейства нашего, быв, могу сказать, сыном, - и кто знает, что небо предполагало, Осип Михайлыч! И вдруг что же, донос, готовить донос, и вот теперь!.. Что после этого думать о людях, Осип Михайлыч?

Да ведь как, господа, как рацею читал! "Нет, говорит, вы мне скажите, что после этого думать о людях, Осип Михайлыч?" Что, думаю, думать! Знаете, и в горле заскребло, и голосенко дрожит, ну уж предчувствую свой

скверный нор и схватился за шляпу...

- Куда ж вы, Осип Михайлыч? Неужели накануне такого дня... Неужели вы и теперь злопамятствуете; чем я против вас согрешил?..

- Федосей Николаич, говорю, Федосей Николаич!

Ну, то есть растаял, господа, как мокрый сахар-медович, растаял. Куда! и пакет, что в кармане лежит с государственными, и тот словно тоже кричит: неблагодарный ты, разбойник, тать окаянный, - словно пять пудов в нем, так тянет... (А если б и взаправду в нем пять пудов было!..)

- Вижу, - говорит Федосей Николаич, - вижу ваше раскаяние ... вы, знаете, завтра...

- Марии Египетские-с...

- Ну, не плачь, - говорит Федосей Николаич, - полно: согрешил и покался! пойдём! Может быть, удастся мне возвратить говорит, вас опять на путь истинный...Может быть, скромные пенаты мои (именно, помню, пенаты, так и выразился, разбойник) согреют, говорит, опять ваше очерств... не скажу очерствелое, - заблудшее сердце...

Взял он меня, господа, за руку и повел к домочадцам. Мне спину морозом прохватывает; дрожу! думаю, с какими глазами предстану я... А нужно вам знать, господа... как бы сказать, здесь выходило одно щекотливое дельце!

- Уж не госпожа ли Ползункова?

- Марья Федосеевна-с, - только не суждено, знать, ей было быть такой госпожой, какой вы ее называете, не дождалась такой чести! Оно, видите, Федосей-то Николаич был и прав, говоря, что в доме-то я почти сыном считался. Оно и было так назад тому полгода, когда еще был жив один юнкер в отставке Михайло Максимыч Двигаилов по прозвищу. Только он волею божию помре, а завещание-то совершить все в долгий ящик откладывал; оно и вышло так, что ни в каком ящике его не отыскивали потом...

- Ух!!!

- Ну ничего, нечего делать, господа, простите, обмолвился, каламбурчик-то плох, да это бы еще ничего, что он плох, - штука-то была еще плоше, когда я остался, так сказать, с нулем в перспективе, потому что юнкер-то в отставке - хоть меня в дом к нему и не пускали (на большую ногу жил, затем что были руки длинные!), - а тоже, может быть не ошибкой, родным сыном считал.

- Ага!!

- Да-с, оно вот как-с! Ну, и стали мне носы показывать у Федосея Николаича. Я замечал-замечал, крепился-крепился, а тут вдруг, на беду

мою (а может, и к счастью!), как снег на голову ремонтёр наскочил на наш городишко. Дело-то оно его, правда, подвижное, легкое, кавалерийское, только так плотно утвердился у Федосея Николаича, - ну, словно муртыра, засел! Я обиходцем да стороночкой, по подлому норову, "так и так, говорю, Федосей Николаич, за что ж обижать! Я в некотором роде уж сын... Отеческого-то, отеческого когда я дождусь..." Начал он мне, сударик ты мой, отвечать! ну, то есть начнет говорить, поэму наговорит целую, в двенадцати песнях в стихах, только слушаешь, облизываешься да руки разводишь от сладости, а толку нет ни на грош, то есть какого толку, не разберешь, не поймешь, стоишь дурак дураком, затуманит, словно вьюн вьется, вывертывается; ну, талант, просто талант, дар такой, что вчуже страх пробирает! Я кидаться пошел во все стороны: туды да сюды! уж и романсы таскаю, и конфет привожу, и каламбуры высиживаю, охи да вздохи, болит, говорю, мое сердце, от амура болит, да в слезы, да тайное объяснение! ведь глуп человек! ведь не проверил у дьячка, что мне тридцать лет... куды! хитрить выдумал! нет же! не пошло мое дело, смешки да насмешки кругом, ну, и зло меня взяло, за горло совсем захватило, - я улизнул, да в дом ни ногой, думал-думал - да хватъ донос! Ну, поподличал, друга выдать хотел, сознаюсь, материяльцу-то было много, и славный такой материял, капитальное дело! Тысячу пятьсот серебром принесло, когда я его вместе с доносом на государственные выменял!

- А! так вот она, взятка-то!

- Да, сударь, вот была взяточка-то-с; поплатился мне взяточник! (И ведь не грешно, ну, право же, нет!) Ну, вот-с теперь продолжать начну: притащил он меня, если запомнить изволите, в чайную ни жива ни мертва; встречаются меня: все как будто обиженные, то есть не то что обиженные, разогорченные так, что уж просто... Ну, убиты, убиты совсем, а между тем и важность такая приличная на лицах сияет, солидность во взорах, этак что-то отеческое, родственное такое... блудный сын воротился к нам, - вот куда пошло! За чай усадили, а чего, у меня у самого словно самовар в грудь засел, кипит во мне, а ноги леденеют: умалился, струсил! Марья Фоминишна, супруга его, советница надворная (а теперь коллежская), мне ты с первого слова начала говорить: "Что ты, батенька, так похудел", - говорит. "Да так, прихварываю, говорю, Марья Фоминишна..." Голосенко-то дрожит у меня! А она мне ни с того ни с сего, знать, выжидала свое ввернуть, ехидна такая: "Что, видно, совесть, говорит, твоей душе не по мерке пришлась, Осип Михайлыч, отец родной! Хлеб-соль-то наша, говорит, родственная возопияла к тебе! Отлились, знать, тебе мои слезки кровавые!" Ей-богу, так и сказала, пошла против совести; чего! то ли за

ней, бой-баба! Только так сидела да чай разливала. А поди-ка, я думаю, на рынке, моя голубушка, всех баб перекричала бы. Вот какая была она, наша советница! А тут, на беду мою, Марья Федосеевна, дочка, выходит, со всеми своими невинностями, да бледненька немножко, глазки покраснелись, будто от слез, - я как дурак и погиб тут на месте. А вышло потом, что по ремонтёре она слезки роняла: тот утек восвояси, улепетнул подобру-поздорову, потому что, знаете, знать (оно пришлось теперь к слову сказать), пришло ему время уехать, срок вышел, оно не то чтобы и казенный был срок-то! а так... уж после родители дражайшие спохватились, узнали всю подноготную, да что делать, втихомолку зашили беду, - своего дому прибыло!.. Ну, нечего делать, как взглянул я на нее, пропал, просто пропал, накопился на шляпу, хотел схватить да улепетнуть поскорее; не тут-то было: утащили шляпу мою... Я уж, признаться, и без шляпы хотел - ну, думаю, - нет же, дверь на крючок насадили, смешки дружеские начались, подмигиванья да заигрыванья, сконфузился я, что-то соврал, об амуре понес; она, моя голубушка, за клавикорды села да гусара, который на саблю опирался, пропела на обиженный тон, - смерть моя! "Ну, говорит Федосей Николаич, - все забыто, приди, приди... в объятия!" Я как был, так тут же и припал к нему лицом на жилетку. "Благодетель мой, отец ты мой родной!" - говорю, да как залиюсь своими горячими! Господи, бог мой, какое тут поднялось! Он плачет, баба его плачет, Машенька плачет... тут еще белобрысенькая одна была: и та плачет... куда - со всех углов ребятишки повыползли (благословил его домком господь!), и те ревут... сколько слез, то есть умиление, радость такая, блудного обрели, словно на родину солдат воротился! Тут угощение подали, фанты пошли: ох, болит! что болит? сердце; по ком? Она краснеет, голубушка! Мы с стариком пуншику выпили, ну, уходили, уластили меня совершенно...

Воротился я к бабушке. У самого голова кругом ходит; всю дорогу шел да подсмеивался, дома два часа битых по каморке ходил, старуху разбудил, ей все счастье поведал. "Да денег-то дал ли, разбойник?" - "Дал, бабушка, дал, дал, родная моя, дал, привалило к нам, отворяй ворота!" - "Ну, теперь хоть женись, так в ту ж пору женись, - говорит мне старуха, - знать, молитвы мои услышаны!" Софрона разбудил. "Софрон, говорю, снимай сапоги". Софрон потащил с меня сапоги. "Ну, Софроша! Поздравь ты теперь меня, поцелуй! Женюсь, просто, братец, женюсь, напейся пьян завтра, гуляй душа, говорю: барин твой женится !" Смешки да игрушки на сердце!.. Уж засыпать было начал; нет, подняло меня опять на ноги, сижу да думаю; вдруг и мелькни у меня в голове: завтра-де первое апреля, день-то такой светлый, игривый, как бы так? - да и выдумал! Что ж, сударики! с

постели встал, свечу зажег, в чем был за стол письменный сел, то есть уж расходился совсем, заигрался, знаете, господа, когда человек разыграется! Всею головой, отцы мои, в грязь полез! То есть вот какой норов: они у тебя вот что возьмут, а ты им вот и это отдашь: дескать, нате и это возьмите! Они тебя по ланите, а ты им на радостях всю спину подставишь. Они тебя потом калачом, как собаку, манить начнут, а ты тут всем сердцем и всей душой облапишь их глупыми лапами - и ну лобызаться! Ведь вот хоть бы теперь, господа! Вы смеетесь да шепчетесь, я ведь вижу! После, как расскажу вам всю мою подноготную, меня же начнете на смех подымать, меня же начнете гонять, а я-то вам говорю, говорю, говорю! Ну, кто мне велел! Ну, кто меня гонит! Кто у меня за плечами стоит да шепчет: говори, говори да рассказывай! А ведь говорю же, рассказываю, вам в душу лезу, словно вы мне, примером, все братья родные, друзья закадышные ... э-эх!..

Хохот, начинавший мало-помалу подыматься со всех сторон, покрыл наконец совершенно голос рассказчика, действительно пришедшего в какой-то восторг; он остановился, несколько минут перебегая глазами по собранию, и потом вдруг, словно увлеченный каким-то вихрем, махнул рукой, захохотал сам, как будто действительно находя смешным свое положение, и снова пустился рассказывать:

- Едва заснул я в ту ночь, господа; всю ночь строчил на бумаге; видите ли, штуку я выдумал! Эх, господа! припомнить только, так совестно станет! И добро бы уж ночью: ну, с пьяных глаз, заблудился, напутал вздору, наврал, нет же! Утром проснулся ни свет ни заря, всего-то и спал часик-другой, и за то же! Оделся, умылся, завился, припомадился, фрак новый напялил и прямо на праздник к Федосею Николаичу, а бумагу в шляпе держу. Встречает меня сам, с отверстыми, и опять зовет на жилетку родительскую! Я и приосанился, в голове еще вчерашнее бродит! На шаг отступил. "Нет, говорю, Федосей Николаич, а вот, коль угодно, сию бумажку прочтите", - да и подаю ее при рапорте; а в рапорте-то знаете что было? А было: по таким-то да по таким-то такого-то Осипа Михайлыча уволить в отставку, да под просьбой-то весь чин подмахнул! Вот ведь что выдумал, господи! и умнее-то ничего придумать не мог! Дескать, сегодня первое апреля, так я вот и сделаю вид, ради шуточки, что обида моя не прошла, что одумался за ночь, одумался да нахохлился, да пуще прежнего обиделся, да, дескать, вот же вам, родные мои благодетели, и ни вас, ни дочки вашей знать не хочу; денежки-то вчера положил в карман, обеспечен, так вот, дескать, вам рапорт об отставке. Не хочу служить под таким начальством, как Федосей Николаич! в другую службу хочу, а там, смотри, и донос подам. Этаким подлецом представился, напугать их выдумал! и

выдумал чем напугать! А? хорошо, господа? То есть вот заласкалось к ним сердце со вчерашнего дня, так дай я за это шуточку семейную отпущу, подтруню над родительским сердечком Федосея Николаича...

Только взял он бумагу мою, развернул, и вижу, шевельнулась у него вся физиономия. "Что ж, Осип Михайлыч?" А я как дурак: "Первое апреля! с праздником вас, Федосей Николаич!" - то есть совсем как мальчишка, который за бабушкино кресло спрятался втихомолку, да потом уф! ей на ухо, во все горло, - пугать вздумал! Да... да просто даже совестно рассказывать, господа! Да нет же! я не буду рассказывать!

- Да нет, что же дальше?

- Да нет, да нет, расскажите! Нет, уж рассказывайте! - поднялось со всех сторон.

- Поднялись, судари мои, толки да пересуды, охи да ахи! и проказник-то я, и забавник-то я, и перепугал-то я их, ну, такое сладчайшее, что самому стыдно стало, так что стоишь да со страхом и думаешь: как такого грешника такое место святое на себе держать может! "Ну, родной ты мой, - запищала советница, - напугал меня так, что по сю пору ноги трясутся, еле на месте держат! Выбежала я как полуумная к Маше: Машенька, говорю, что с нами будет! Смотри, каким твой-то оказывается! Да сама согрешила, родимый, уж ты прости меня, старуху, опростоволосилась! Ну, думаю: как пошел он от нас вчера, пришел домой поздно, начал думать, да, может, показалось ему, что нарочно мы вчера ходили за ним, завлечь хотели, так и обмерла я! Полно, Машенька, полно мигать мне, Осип Михайлыч нам не чужой; я же твоя мать, дурного ничего не скажу! Слава богу, не двадцать лет на свете живу: целых сорок пять!...

Ну, что, господа! Чуть я ей в ноги не чебурахнулся тут! Опять прослезилась, опять лобызания пошли! Шуточки начались! Федосей Николаич тоже для первого апреля штучку извоили выдумать! Говорит, дескать, жар-птица прилетела, с бриллиантовым клювом, а в клюве-то письмо принесла! Тоже надуть хотел, - смех-то пошел какой! умиление-то было какое! тьфу! даже срамно рассказывать.

Ну, что, мои милостивцы, теперь и вся недолга! Пожили мы день, другой, третий, неделю живем; я уж совсем жених! Чего! Кольца заказаны, день назначали, только оглашать не хотят до времени, ревизора ждут. Я-то жду не дождусь ревизора, счастье мое остановилось за ним! Спустить бы его скорей с плеч долой, думаю. А Федосей-то Николаич под шумок и на радостях все дела свалил на меня: счета, рапорты писать, книги сверять, итоги подводить, смотрю: беспорядок ужаснейший, все в запустении, везде крючки да кавыки! ну, думаю, потружусь для тестюшки! А тот все

прихварывает, болезнь приключилась, день ото дня ему, видишь, хуже. А чего, я сам, как спичка, ночей не сплю, повалиться боюсь! Однако кончил-таки дело на славу! выручил к сроку! Вдруг шлют за мной гонца. "Поскорей, говорят, худо Федосею Николаичу!" Бегу сломя голову - что такое? Смотрю, сидит мой Федосей Николаич обвязанный, уксусу к голове промочил, морщится, кряхтит, охает: ох да ох! "Родной ты мой, милый ты мой, говорит, умру, говорит, на кого-то я вас оставлю, птенцы мои!" Жена с детьми приплелась, Машенька в слезы, - ну, я и сам зарюмил! "Ну, нету же, говорит, бог будет милостив! Не взыщет же он с вас за все мои прегрешения!" Тут он их всех отпустил, приказал за ними дверь запереть, остались мы с ним вдвоем, с глазу на глаз. "Просьба есть до тебя!" - "Какая-с?" - "Так и так, братец, и на смертном одре нет покоя, зануждался совсем!" - "Как так?" Меня тут и краска прошибла, язык отнялся. "Да так, братец, из своих пришлось в казну приплатиться; я, братец, для пользы общей ничего не жалею, жизни своей не жалею! Ты не думай чего! Грустно мне, что меня пред тобой клеветники очернили... Заблуждался ты, горе с тех пор мою голову убелило! Ревизор на носу, а у Матвеева в семи тысячах недочет, а отвечаю я... кто ж больше! С меня, братец, взыщут: чего смотрел? А что с Матвеева взять! Уж и так довольно с него; что горемыку под обух подводить!" Святители, думаю, вот праведник! вот душа! А он: "Да, говорит, дочерних брать не хочу, из того, что ей пошло на приданое; это священная сумма! Есть свои, есть, правда, да в люди отданы, где их сейчас соберешь!" Я тут как был, так и бряк перед ним на колени. "Благодетель ты мой, кричу, оскорбил я тебя, разобидел, клеветники на тебя бумаги писали, не убей вконец, возьми назад свои денежки!" Смотрит он на меня, потекли у него из глаз слезы. "Этого я и ждал от тебя, мой сын, встань; тогда простил ради дочерних слез! теперь и мое сердце прощает тебя. Ты залечил, говорит, мои язвы! благословляю тебя во веки веков!" Ну, как благословил-то он меня, господа, я во все лопатки домой, достал сумму: "Вот, батюшка, все, только пятьдесят целковых извел!" - "Ну ничего, говорит, а теперь всякое лыко в строку; время спешное, напиши-ка рапорт, задним числом, что зануждался да вперед просишь жалованья пятьдесят рублей. Я так и покажу по начальству, что тебе вперед выдано..." Ну что ж, господа! как вы думаете? ведь я и рапорт написал!

- Ну что же, ну чем же, ну как это кончилось?

- Только что написал я рапорт, сударики вы мои, вот чем кончилось. На завтра же, на другой же день, ранехонько поутру пакет за казенной печатью. Смотрю - и что ж обретаю? Отставка! Дескать, сдать дела, свести счета, а самому идти на все стороны!..

- Как так?

- Да уж и я тут благим матом крикнул: как так! сударики! Чего, в ушах зазвенело! Я думал спроста, ан нет, ревизор в город въехал. Дрогнуло сердце мое! Ну, думаю, неспроста! да так, как был, к Федосею Николаичу: "Что?" говорю. "А что ж?" - говорит. "Да вот же отставка!" - "Какая отставка?" "А это?" - "Ну что ж, и отставка-с!" - "Да как же, разве я пожелал?" - "А как же, вы подали-с, первого апреля вы подали" (а бумагу-то я не взял назад!).- "Федосей Николаич! да вас ли слышат уши мои, вас ли видят очи мои!" - "Меня-с, а что-с?" - "Господи, бог мой!" - "Жаль мне, сударь, жаль, очень жаль, что так рано службу оставить задумали! Молодому человеку нужно служить, а у вас, сударь, ветер начал бродить в голове. А насчет аттестата будьте покойны: я позабочусь. Вы же так хорошо себя всегда аттестуете-с!" "Да ведь я ж тогда шуточкой, Федосей Николаич, я ж не хотел, я так подал бумагу, для родительского вашего... вот!" - "Как-с вот! Какое, сударь, шуточкой! Да разве такими за бумагами шутят-с? да вас за такие шуточки когда-нибудь в Сибирь упекут-с. Теперь прощайте, мне некогда-с, у нас ревизор-с, обязанности службы прежде всего; вам бить баклуши, а нам тут сидеть за делами-с. А уж я вас там как следует аттестую-с. Да еще-с, вот я дом у Матвеева сторговал, переедем на днях, так уж надеюсь, что не буду иметь удовольствия вас на новоселье у себя увидеть. Счастливый путь!" Я домой со всех ног: "Пропали мы, бабушка!" - взвыла она, сердечная; а тут, смотрим, бежит казачок от Федосея Николаича, с запиской и с клеткой, а в клетке скворец сидит; это я ей от избытка чувств скворца подарил говорящего; а в записке стоит: первое апреля, а больше и нет ничего. Вот, господа, что, как вы думаете-с?!

- Ну, что же, что же дальше???

- Чего дальше! встретил я раз Федосея Николаича, хотел было ему в глаза подлеца сказать...

- Ну!

- Да как-то не выговорилось, господа!

1848 г.